

В 1964 году в американском журнале «Плейбой» появилось большое интервью с Владимиром Набоковым. Взял это интервью Олвин Тоффлер, впоследствии ставший знаменитым писателем, автором книги «Столкновение с будущим». Предлагаем вниманию читателей фрагмент этой беседы.

— Вы родились в России, но многие годы живете и работаете в Америке и в Европе. Сохранилось ли у вас какое-либо чувство национальной принадлежности?

— Я — американский писатель, родившийся в России и получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу, а затем 15 лет проживший в Германии. Приехав в Америку в 1940 году, я решил стать американским гражданином и сделать Америку своим домом. Так случилось, что я сразу же столкнулся в Америке со всем лучшим, с ее богатой интеллектуальной жизнью и простой дружеской атмосферой. Я погрузился в ее огромные библиотеки, в этот ее Гранд-Каньон. Я работал в лабораториях ее зоологических музеев. Я приобрел больше друзей, чем у меня было во все времена в Европе. Мои книги — новые и старые — нашли замечательных читателей. Я стал таким же полным, как Кортес¹, — главным образом потому, что бросил курить и жевал карамельки, в результате чего вместо обычных для меня 140 фунтов я стал весить 200 фунтов. Таким образом, на одну треть я американец — хорошая американская плоть и кровь согревают меня и позволяют чувствовать себя в безопасности.

— Вы прожили 20 лет в Америке, и тем не менее у вас никогда не было дома или какого-то по-настоящему обжитого места. Ваши друзья говорят, что вы неподолгу останавливались в отелях, небольших коттеджах, меблированных квартирах и домах, сдаваемых профессорами на время отпуска. Не потому ли, что вы владеете таким сильным внутренним беспокойством и вы чувствовали себя настолько чужим в этой стране, что мысль поселиться где-либо постоянно вселяла в вас тревогу?

— Главной причиной, таившейся где-то в глубине души, наверно, было ощущение, что ничто меньшее, чем точная копия моего детского окружения, меня бы не удовлетворило. Мне никогда бы не удалось воплотить в жизнь свои воспоминания — так зачем же беспокоиться из-за безнадёжной приближенности? Существуют и некоторые особые соображения: например, вопрос стимула, привычка к нему. Я выскочил из России так стремительно, с такой силой негодования, что до сих пор сохранил эту инерцию движения и продолжаю катиться от одного места к другому. Верно, я дожил до такого лакомого кусочка, как звание профессора, но в душе я всегда остаюсь тощим «приглашенным лектором». Во всяком случае несколько раз я говорил себе: «Вот прекрасное место, где можно обосноваться», и тут же слышал гром лавины, уносящей в небытие сотни далеких мест, которые я уничтожал, поселившись в каком-то определенном уголке земли. Наконец, я не очень люблю мебель, столы, стулья, лампы, ковры и всякие другие вещи — возможно, потому, что в окруженном роскошью детстве меня научили относиться с насмешливым презрением к слишком серьезной привязанности к материальному богатству, и поэтому я не испытывал сожаления и горечи, когда революция это богатство отняла.

— Вы прожили в России 20 лет, в Западной Европе — 20 лет и в Америке — 20 лет. Но в 1960 году, после успеха «Лолиты», вы переехали во Францию и Швейцарию и с тех пор не возвращались в США. Не означает ли это, что вы, хотя и называете себя американским писателем, подвели черту под своим американским периодом?

— Я живу в Швейцарии по чисто личным причинам — семейным и отчасти профессиональным, таким, как проведение специального исследования для подготовки одной специальной книги. Я надеюсь очень скоро вернуться в Америку — к ее библиотечным стеллажам и горным перевалам. Идеальным местом была бы абсолютно звукопроницаемая квартира в Нью-Йорке на самом верхнем этаже —

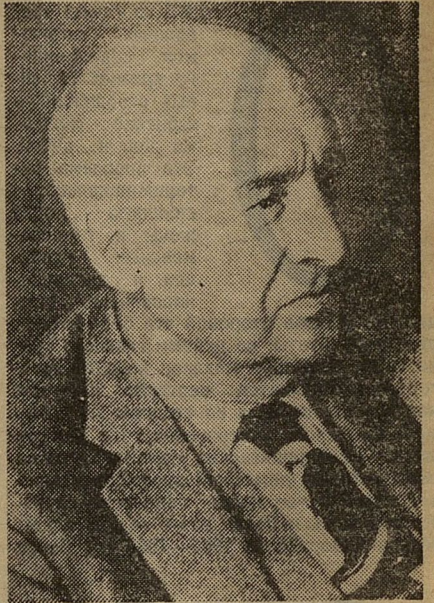
чтобы над головой не ходили чьи-то ноги и ниоткуда бы не доносились звуки музыки, — или коттедж в юго-западной части страны. Иногда мне кажется, что было бы забавно снова стать украшением какого-либо университета, жить и писать в университетском городке, но не преподавать, по крайней мере, на регулярной основе. — А пока вы пребываете в уединении в отеле и ведете, судя по всем сообщениям, сидячий образ жизни. Как складывается ваш день?

— Зимой я просыпаюсь около семи утра: мой будильник — это альпийская ворона, огромная, блестящая черная птица с большим желтым клювом, которая прилетает на балкон и издает поразительно мелодичное кудахтанье. Некоторое время я лежу в постели и обдумываю прошедший день и план на будущий, размышляю и принимаю ванну — именно в таком порядке. Затем до обеда работаю в своем кабинете, делая короткий перерыв на прогулку с женой вдоль озера. Здесь в

«А после дождя на бусинках проводов одна птица, две птицы, три птицы, ни одной птицы; колеса в грязи, солнце... «Время без сознания — мир низших животных; время в сознании — человек; сознание без времени — еще более высоко организованная материя»... «Мы думаем не словами, а тенями слов. Джеймс Джойс совершил ошибку, окружив слова своих прекрасных во всех отношениях внутренних монологов слишком большой словесной плотью»...

«Идет снег. Молодой отец гуляет с крохотным ребенком, нос цвета спелой вишни. Почему родители сразу же что-то говорят своему ребенку, если ему улыбнется незнакомец? «Конечно», отвечает отец на детское гуканье, которое продолжалось бы еще бесконечно под аккомпанемент падающего снега, если бы я, проходя мимо, не улыбнулся»...

«Я, — сказала Смерть, — существую даже в Аркадии» — надпись на надгробии



Владимир НАБОКОВ:

Неделя - 1990. - 23-29 апр. (№17). - с. 20-21

«Я АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

разное время прогуливались практически все знаменитые русские писатели девятнадцатого века: Жуковский, Гоголь, Достоевский, Толстой, который ухаживал за гостиничными горничными в ущерб своему здоровью, и многие русские поэты. Так было в Ницце и в Риме. В час дня мы обедаем, и к половине второго я возвращаюсь к своему столу и работаю без перерыва до половины седьмого. Затем прогулка до киоска за английскими газетами и в семь часов ужин. После ужина я уже не работаю. Около девяти часов ложусь и читаю до половины двенадцатого, а затем до часа ночи ворочаюсь от бессонницы. Раз в два в неделю меня посещает изрядно продолжительный кошмар, в котором присутствуют персонажи из предыдущих снов, возникающие в более или менее повторяющемся окружении, — калейдоскоп несвязных впечатлений, фрагментов дневных мыслей и капризных суетных образов, начисто лишенных какого-либо фрейдистского скрытого смысла или толкования, но необыкновенно близких к веренице меняющихся фигур, которые человек, закрыв усталые глаза, обычно видит на своем внутреннем экране.

— Верно ли, что вы пишете стоя и не на пишущей машинке, а от руки?

— Да. Я так и не научился печатать. Я обычно начинаю день у прелестного старомодного попирта, который стоит в моем кабинете. Когда же икры наливаются тяжестью, я устраиваюсь в кресле за обычным письменным столом; и, наконец, не в силах бороться с ползущей вверх по спине усталостью, ложусь на кушетку в углу моего маленького кабинета. Это приятный, раз навсегда заведенный порядок. Но в молодости, когда мне было лет двадцать с чем-то или немного больше тридцати, я часто оставался весь день в постели, курил и писал. Теперь положение изменилось. Горизонтальная проза, вертикальная поэзия и комментарии в сидячем положении постоянно обмениваются определителями и портрет аллитерацию.

— Не могли бы вы более подробно рассказать о творческом процессе, связанном с зарождением какой-либо книги, — может быть, прочитать несколько набросков или отрывков из того, над чем вы сейчас работаете?

— Конечно, нет. Ни один зародыш не должен подвергаться исследовательской операции. Но я могу сделать кое-что другое. Вот в этой коробке лежат карточки с заметками, сделанными сравнительно недавно и отвергнутыми, когда я писал «Бледный огонь». Это небольшая партия отбросов. Я прочитаю вам некоторые из них (читает с карточек):

«Селена¹. Луна. Селенгинск, старый городок в Сибири: город лунных ракет»... «Ягодка: черный бугорок на клюве лебедя-шипуну»... «Падающий червяк: маленькая гусеница, висят на нитке»... «В журнале «Нью бон-тон», т. 5, 1820 г., стр. 312, проститутки называют «городскими девушками»... «Юноше снится: забыл брюки; старику снится: забыл вставить челюсть»... «Студент рассказывает, что, читая какой-либо роман, он пропускает целые страницы, чтобы иметь свое мнение и не попасть под влияние автора»... «Направатия²: самое уродливое слово в языке».

¹ В древнегреческой мифологии богиня Луны.

² Направленый массаж (от русского слова «направить»).

пастуха»... «Марат коллекционировал бабочек»...

— Что побуждает вас записывать и собирать такие отрывочные впечатления и высказывания?

— Скажу только, что на очень ранней стадии зарождения книги у меня возникает такое вот желание подбирать соломинки и пушинки, склеивать камушки. Никто никогда не узнает, насколько четко птица представляет себе — и представляет ли вообще — свое будущее гнездо и отложенные в нем яйца. Вспоминаю ту силу, которая заставляла меня записывать точные названия вещей, их размеры, оттенки цветов даже еще до того, как мне была нужна именно эта информация, я склонен предполагать, что то, что за неимением более подходящего слова я называю вдохновением, уже приступило к работе, безмолвно указывая на тот или иной предмет и заставляя накапливать уже известные материалы для еще неведомого строения. После первого неожиданного проблеска — внезапного осознания «вот что я буду писать» — роман начинается рождаться уже сам по себе; этот процесс идет не на бумаге, а исключительно в уме; и чтобы в любой данный момент знать, какой он достиг стадии, мне не надо вспоминать каждую точную

фразу. Я ощущаю своего рода спокойный и плавный рост, происходящий внутри эволюции и знаю, что детали уже на своих местах и что я мог бы их ясно увидеть, стоило бы только присмотреться, остановить машину и открыть ее внутреннее отделение; но я предпочитаю ждать до тех пор, пока сила, несколько вольно называемая вдохновением, не завершит свою работу.

И вот наступает момент, когда внутренний голос говорит мне, что строительство здания завершено. Теперь мне остается только перенести его очертания на бумагу ручкой или карандашом. Но поскольку это здание освещается внутренним взором еще неярко и поскольку вам не надо трудиться последовательно слеза направо, чтобы оно было четко видно, то при описании этой картины я могу направить свой фонарик на ее любой уголок. Работая над романом, я не пишу его с самого начала, не перехожу, скажем, после третьей главы к четвертой, не следующую послушно от одной страницы к другой в строгом порядке; нет, я выбираю места то здесь, то там до тех пор, пока на бумаге не заполнятся все пробелы. Вот почему я люблю писать рассказы и романы на карточках, которые после их заполнения я нумерую. Каждая карточка

переписка

Их переписка продолжалась три десятилетия, с 1940 по 1971 г. Когда они познакомились, Набоков как писатель был известен лишь в русских эмигрантских кругах, Эдмунд Уилсон как критик был известен узкому кругу американских читателей. Уилсон помогал Набокову освоиться в новой литературной среде обитания, Набоков подсказывал Уилсону ориентиры в русской литературе и политике. Взаимобогащение шло с поразительным успехом. В 1965 году после разгромной (и во многом несправедливой) статьи Уилсона о набоковском аннотированном переводе «Евгения Онегина» произошло охлаждение, хотя дружеский тон посланий («Дорогой Володя...» — «Дорогой Братец Кролик...») остался прежним.

Кембридж, Массачусетс
24 ноября 1942

Дорогой Братец Кролик,

Вот тебе несколько редких особей из семейства гомо сапов¹ и гомо сапиенс:

1) Женщина, читающая курс драмы. Хобби: похожа на герцогиню Виндзорскую. И впрямь похожа. Стоит герцогине (судя по фотографиям в газетах) изменить прическу, как эта меняет свою (дабы остаться верной подлиннику, по примеру некоторых мимикрирующих бабочек). Классифицирует людей на а) тех, кто тотчас отмечает сходство; б) тех, кто не сразу обращает на это внимание; в) тех, кто может сказать о нем только третьему лицу; г) (избранные) тех, кто в ее присутствии непроизвольно начинает рассказывать о герцогине, не отдавая себе отчета в природе таких ассоциаций; и д) тех, кто игнорирует сходство... или его не видит. Она старая дева, имеющая в роду одного или двух «виндзоров», и это хобби наполняет смыслом ее жизнь.

2) Человек с кроткими слезящимися

глазами, чем-то напоминающий священника. Очень тихий, неразговорчивый, мелкие фальшивые зубы. Спросит вдруг какую-нибудь банальность («Вы давно в этой стране?») голосом чревоушителя и снова становится пугающе молчаливым. Профессия: секретарь нескольких клубов. Холостяк. Сексуальная жизнь либо сводится к унылому короткому союзу: он останавливается в каком-то месте, уставясь на флагшток. Глаза горят, ноздри трепещут, возбужден до крайности. Спрашивает у смотрителя: «Это у вас новый флагшток?» Интересуется (в голосе дрожь), какова его точная высота. «Да вроде 70 футов». Вздыхнул с облегчением. Видите ли, флагштоки его страсть, и на днях он приобрел, чтобы установить у себя за домом, новый, 75-футовый флагшток (через год, по его признанию, он раздобудет 100-футовый). Обнял выкрашенную в серебристый цвет трубу и задрал вверх голову. Верно, около семидесяти. «А вы заметили, — говорю, — что макушка чуть-чуть отклонилась от оси?» Совершенно счастлив: действительно, вертикаль слегка нарушена, тогда как его флагшток встал по струнке. Человечек оживился и расцвел — по крайней мере на полчаса. А на следующий день я отметил про себя, как он на мгновение встретился, стоило мне что-то сказать о поляках.² Готовый клиент для венского шамана², который бы не преминул добавить, что пол по-русски значит «секс».

3) Знаменитый негритянский ученый и организатор. Семьдесят лет, но выглядит на пятьдесят. Смуглое лицо, курчавые седые волосы, симпатичные морщины, большие уши, — вылитый белогвардейский генерал в отставке — его бы симпатично сыграл Эмиль Дженнингс. Руки — помесь шоколадно-розового. Блестящий рассказ-

¹ Эрнан Кортес (1485—1547) — испанский конкистадор, возглавивший завоевание индейских государств на территории Мексики.

много раз переписывается. Примерно три карточки — это одна страница на машинке, и когда я, наконец, чувствую, что задуманная картина скопирована мной настолько верно, насколько это физически возможно — несколько пустых мест, увы, всегда остается, — тогда я диктую роман своей жене, которая печатает его в трех экземплярах.

— Что вы понимаете под словами «скопировать задуманную картину»?

— Писатель-творец должен тщательно изучать произведения своих соперников, в том числе и Всевышнего. Он должен обладать врожденным даром не только вновь объединить, но и воссоздать этот данный мир. И чтобы сделать это адекватно, избегая дублирования труда, художник должен знать его. Воображение, лишенное знания, ведет не далее, чем на задворки примитивного искусства, к детским каракулям на заборе и словесным вывертам надписей на рыночной площади. Искусство никогда не бывает простым. В бытность мою преподавателем я автоматически ставил плохую отметку на экзаменах, если мне встречалась фраза с ужасными словами «искренне и просто» — «Стиль Флобера всегда прост и искренен». Когда я вычеркивал эту фразу с такой бешеной яростью, что карандаш рвал бумагу, студент, считавший, что это наивыс-

шимое искусство, идеальное государство меня мало волнует. Мои желания скромны. Портреты главы государства не должны превышать по размеру почтовой марки. Недопустимости пыток и казней. Никакой музыки, кроме как в наушниках или в театре.

— Почему же не должно быть музыки?

— У меня нет музыкального слуха, о чем я горько сожалею. Когда я бываю в концерте — что случается примерно раз в пять лет, — я храбро пытаюсь следить за последовательностью и комбинацией звуков, но через несколько минут мое внимание переключается на чисто зрительное восприятие: отражение рук на лакированном дереве, усердную лысину над скрипкой, а затем движения музыкантов вызывают у меня безмерную скуку; и мое непонимание музыки тем более грустно и несправедливо, что в моей семье есть прекрасный певец — мой сын. Его одаренность, редкая красота его баса и перспектива блестящей карьеры — все это меня глубоко угнетает, а слушая разговоры музыкантов, я ощущаю свою неполноценность. Я прекрасно знаю о существовании многих параллелей в художественных формах музыки и литературы, особенно в композиции, но что поделаешь, если ухо и мозг отказываются сотрудничать? Однако у меня есть своеобразный

экземпляр — и тогда он считался бестселлером, — но каждый экземпляр переходил из рук в руки, и его читали, по крайней мере, двадцать человек, а если он имелся в русских библиотеках, которых сотни только в одной Западной Европе, то еще человек пятьдесят в год. Во время второй мировой войны эта экспатриация, можно сказать, закончилась. Старые писатели умерли, русские издатели также перестали существовать, и, самое худшее, общая атмосфера культуры эмиграции с ее блеском, живостью, чистотой и силой отклика на различные проблемы породила лишь ручеек русских периодических изданий, анимичных по таланту и провинциальных по тону. Далее, возьмите мой случай. Здесь имела значение отнюдь не финансовая сторона: мои книги на русском языке никогда не приносили мне больше нескольких сотен долларов в год, и я целиком стою за башню из слоновой кости и за работу на радость только одному читателю — себе самому. Но и этому читателю нужен если не ответ, то хотя бы отклик и умеренное разномыслие своей персоны в какой-то стране или ряде стран. И если вокруг его писательского стола будет лишь одна пустота, ему хотелось бы, чтобы она была, по крайней мере, звучащей, не окруженной звуконепропускаемыми стенами. С годами меня все меньше и меньше интересовала Россия и я становился все более и более равнодушен к некогда мучительной мысли, что мои книги будут запрещены там до тех пор, пока мое презрение к полицейскому государству и политическому угнетению предостерегает меня даже от самой отдаленной мысли о возвращении. Да, я не напишу больше ни одного романа по-русски, однако изредка я позволяю себе сочинить несколько коротких русских стихотворений. Мой последний русский роман был написан четверть века назад. Но сегодня в качестве компенсации, отдавая дань справедливости моей маленькой американской музе, я делаю кое-что другое. Хотя рассказывать об этом, вероятно, еще слишком рано.

— Вы говорили, что не напишете по-русски больше ни одного романа. Почему?

— Во время великой и еще не воспетой эры экспатриации русских интеллигентов — примерно между 1920 и 1940 гг. — книги на русском языке, написанные русскими эмигрантами и публиковавшиеся за границей эмигрантскими издательствами, с жадностью раскупались или заимствовались читателями-эмигрантами, но были полностью запрещены в Советской России, независимо от темы — как они запрещены и сейчас, за исключением книг некоторых умерших писателей, например Куприна и Бунина, чьи подвергшиеся строгой цензуре произведения были недавно там опубликованы. Эмигрантский роман, изданный, скажем, в Париже и продававшийся во всех странах свободной Европы, расходился в те годы в 1.000 или 2.000

РОДИВШИЙСЯ В РОССИИ...

шая похвала прозе или поэзии, обижено говорил, что именно этому его всегда учили: «искусство должно быть простым, искусство должно быть искренним». Когда-нибудь я непременно прослежу, откуда идет это вульгарное и абсурдное представление. То ли от провинциальной учительницы в Огайо? То ли от прогрессивного осли в Нью-Йорке? Потому что, конечно, подлинно великое искусство фантастически коварно и сложно.

— Критики пишут, что вы «неисправимый обманщик», «мистификатор» и «agent provocateur» в литературе». Как вы сами оцениваете себя?

— Наверно, лучше всего обо мне говорит такой факт, что ни болтовня, ни желчность критиков никогда не приводили меня в смущение, и я ни разу в жизни не обращался с просьбой написать рецензию, а если она появлялась, никогда не благодарил за нее рецензента. Другой факт — или достаточно первого?

— Нет, пожалуйста, продолжайте.

— Другой факт заключается в том, что с тех пор как я юношей 19 лет уехал из России, мои политические взгляды так же холодны и незбылемы, как старая, лишенная растительности скала. Они до банальности традиционны. Свобода высказываний, мысли, искусства. Социальная и эко-

логическая структура идеального государства меня мало волнует. Мои желания скромны. Портреты главы государства не должны превышать по размеру почтовой марки. Недопустимости пыток и казней. Никакой музыки, кроме как в наушниках или в театре.

— Почему же не должно быть музыки?

— У меня нет музыкального слуха, о чем я горько сожалею. Когда я бываю в концерте — что случается примерно раз в пять лет, — я храбро пытаюсь следить за последовательностью и комбинацией звуков, но через несколько минут мое внимание переключается на чисто зрительное восприятие: отражение рук на лакированном дереве, усердную лысину над скрипкой, а затем движения музыкантов вызывают у меня безмерную скуку; и мое непонимание музыки тем более грустно и несправедливо, что в моей семье есть прекрасный певец — мой сын. Его одаренность, редкая красота его баса и перспектива блестящей карьеры — все это меня глубоко угнетает, а слушая разговоры музыкантов, я ощущаю свою неполноценность. Я прекрасно знаю о существовании многих параллелей в художественных формах музыки и литературы, особенно в композиции, но что поделаешь, если ухо и мозг отказываются сотрудничать? Однако у меня есть своеобразный

экземпляр — и тогда он считался бестселлером, — но каждый экземпляр переходил из рук в руки, и его читали, по крайней мере, двадцать человек, а если он имелся в русских библиотеках, которых сотни только в одной Западной Европе, то еще человек пятьдесят в год. Во время второй мировой войны эта экспатриация, можно сказать, закончилась. Старые писатели умерли, русские издатели также перестали существовать, и, самое худшее, общая атмосфера культуры эмиграции с ее блеском, живостью, чистотой и силой отклика на различные проблемы породила лишь ручеек русских периодических изданий, анимичных по таланту и провинциальных по тону. Далее, возьмите мой случай. Здесь имела значение отнюдь не финансовая сторона: мои книги на русском языке никогда не приносили мне больше нескольких сотен долларов в год, и я целиком стою за башню из слоновой кости и за работу на радость только одному читателю — себе самому. Но и этому читателю нужен если не ответ, то хотя бы отклик и умеренное разномыслие своей персоны в какой-то стране или ряде стран. И если вокруг его писательского стола будет лишь одна пустота, ему хотелось бы, чтобы она была, по крайней мере, звучащей, не окруженной звуконепропускаемыми стенами. С годами меня все меньше и меньше интересовала Россия и я становился все более и более равнодушен к некогда мучительной мысли, что мои книги будут запрещены там до тех пор, пока мое презрение к полицейскому государству и политическому угнетению предостерегает меня даже от самой отдаленной мысли о возвращении. Да, я не напишу больше ни одного романа по-русски, однако изредка я позволяю себе сочинить несколько коротких русских стихотворений. Мой последний русский роман был написан четверть века назад. Но сегодня в качестве компенсации, отдавая дань справедливости моей маленькой американской музе, я делаю кое-что другое. Хотя рассказывать об этом, вероятно, еще слишком рано.

— Пожалуйста, расскажите.

— Однажды, рассматривая разноцветные обложки «Лолиты» на японском, финском и арабском языках, я подумал, что неизбежные ошибки из всех переводов на 15—20 языков могут образовать более солидный том, чем сама книга. До напечатания я проверил французский перевод, который в основном был очень хорош, но и он изобиловал бы ошибками, если бы я не внес исправлений. А что я мог сделать с переводом на португальский, на иврит или на датский? И еще, я представил себе, что в отдаленном будущем кто-то захочет перевести «Лолиту» на русский. В моем магическом кристалле возник этот момент отдаленного будущего, и я увидел, что каждый абзац таит в себе возможность ужасных искажений, причиненных оспинами ошибок. В руках грубого ремесленника русский вариант «Лолиты» полностью пооблетит и будет испорчен вульгарным пересказом и ошибками. Поэтому я решил перевести ее сам. Сейчас у меня готово уже шестьдесят страниц.

— Хотелось бы вам поскорее прочитать рецензии на свою работу?

— Я отношусь к рецензиям на свои книги на самом деле без особой жадности или внимания, если они не являются образцом остроты ума и проницательности — что порой все же случается. И я никогда не перечитываю их, но моя жена

собирает этот материал, и когда-нибудь я, возможно, воспользуюсь наиболее одиозными рецензиями на «Лолиту», чтобы написать историю приключений этой нимфетки. Однако я прекрасно помню нападки критиков из русской эмиграции, которые рецензировали мои первые романы тридцать лет назад, — не потому, что тогда я был более ранним, просто память была более цепкой и активной, и к тому же я сам занимался рецензированием. В 1920-е годы в меня буквально вцепился некто Мочульский, который никак не мог переварить мое полное безразличие к распространявшемуся мистицизму, к религии, к церкви — любой конфессии. Были и другие, кто не мог простить мне, что я держался в стороне от литературных «движений», не высказывал во всеуслышание своей «angoisse»¹, которую, по их мнению, должны испытывать поэты, и не принадлежал ни к одной из их групп, которые собирались в задних комнатах парижских кафе, заряжаясь вдохновением. Был и такой курьезный случай с Георгием Ивановым, хорошим поэтом, но грубым критиком, позволявшим себе брань и оскорбительные выражения. Я никогда не встречался ни с ним, ни с его литературной женой Ириной Одоевцевой, но однажды в конце 1920-х или в начале 1930-х годов, когда я регулярно писал рецензии для одной эмигрантской газеты в Берлине, она прислала мне из Парижа свой роман с какой-то непонятной надписью: «Благодарю Вас за «Короля, даму, вальса»². Это могло означать: «благодаря вам я написала эту книгу» или же более нейтральное «благодарю вас за присланную книгу», хотя я никогда ничего ей не посылал. Книга ее оказалась безнадежно тривиальной, о чем я и написал в краткой и ядовитой рецензии. В отместку Иванов ответил грубой, чрезвычайно личной статьей обо мне и моих книгах. Возможность использования литературной критики для выражения дружеских чувств или сведения счетов лишает эту область творчества непредвзятости и честности.

— Достоевский, поднимавший, по мнению большинства читателей, всеобщие как по масштабу, так и по значимости темы, считается одним из великих писателей мира. Тем не менее вы назвали его «охотником за дешевыми сенсациями, неуклюжим и вульгарным». Почему?

— Иностранные читатели не понимают двух вещей: не всем русским Достоевский нравится так же, как американцам, и большинство русских, которым он нравится, почитают его как мистика, а не как художника. Он был пророком, журналистом трескучих фраз и грубым комедиантом. Я признаю, что некоторые сцены, некоторые страшные и нелепые скандалы написаны у него чрезвычайно увлекательно. Но его чувствительных убийц и одухотворенных проституток нельзя переносить ни минуты — во всяком случае, это относится к читателю, который сейчас перед вами.

— Верно ли, что вы называли Хемингуэя и Конрада «авторами книг для юношеского возраста»?

— Именно таковыми они и являются. Хемингуэй, конечно, стоит выше Конрада; у него есть, по крайней мере, собственный голос, и ему принадлежит этот восхитительный, высокохудожественный рассказ «Убийцы». Описание рыбы в его знаменитом рассказе также превосходно. Но я не выношу конрадовского стиля сувенирных магазинов, этих кораблей в бутылках, романтических клише, подобных ожерельям из ракушек. Ни у одного из этих двух писателей я не могу найти ничего, о чем бы я захотел написать. По своему складу и чувствам это безнадежные юноши, и то же самое можно сказать и о других популярных писателях — баловнях гостиных, утешении и поддержке новоявленных бакалавров — таких, как... но некоторые из них еще живы, и я не люблю обижать этих старых мальчиков, в то время как уже умершие еще не похоронены.

— Есть ли такие современные писатели, книги которых доставляют вам удовольствие?

— У меня есть несколько любимых авторов, например, Роб-Грийе и Борхес. Как свободно и приятно дышится в их чудесных лабиринтах! Мне нравятся прозрачность их мысли, чистота и поэтичность, мираж, отражающийся в зеркале.

— И последний вопрос: вы верите в Бога?

— Если говорить совершенно откровенно — о том, что я сейчас скажу, я никогда ранее не говорил, и надеюсь, что это вызовет благотворный холодок, — я знаю больше, чем могу выразить словами, а то малое, что я могу выразить, я не смог бы написать, если бы не знал больше.

Перевод
И. ЯКУШКИНОЙ.

чик старого образца. Très gentilhomme**. Курит особые турецкие сигареты. Само обаяние. Рассказал мне, что когда он плыл в Англию через Ла Манш, на пароле его записали «полковником», так как в паспорте после его имени стояло «Col.» ***.

4) Мужчина в отеле. Когда около десяти вечера я шел по коридору к себе, из номера высунулась розоватая лысина и пригласила меня поболтать перед сном. Не хотелось обижать его отказом. Мы уселись на его кровати и выпили виски. Он тут умирал от скуки и попытался выжать максимум из моего общества. Принялся рассказывать во всех подробностях о своем сахарном бизнесе во Флориде, о причинах, побудивших его приехать в Вальдостоу (нанимает чернокожую рабсилу), и множество утомительных деталей о своем заводе. Я был весь один большой зевок. То и дело поглядывал на часы — еще десять минут, и я обращаюсь в бегство. Когда я нашаривал в кармане пачку, оттуда выпала и покатила по полу коробочка из-под таблеток, куда я складываю мотыльков с освещенных вранд. Он поднял коробочку со словами: «У меня такая же: я в нее складываю мотыльков». Выяснилось, что он энтомолог и даже одно время был связан с американским Музеем естественной истории, где я работал. Я уже не посматривал на часы. Второй раз я так обмешурился (первый — с профессором Форбсом в бостонской подземке).

5) Высокий крупный мужчина, президент колледжа. Свое знакомство со сту-

дентами начал с удивительно тонких замечаний о стихотворениях Браунинга «Последняя герцогиня» и «Орлиное перо». Предложил студентам называть его по имени, которое он получил при крещении. Меня называл МакНабом³, будучи не в состоянии правильно выговорить мою фамилию. Шокировал местную публику тем, что, имея шикарный Паккард, он привез миссис Рузвельт со станции в страшеньком разбитом автомобильчике, которым он пользуется в обычные дни. Увлекался рассказывал о своем деде, герое армии конфедератов, после чего дал мне прочесть свои записки — такие, знаешь, семейные мемуары, — и это было очень плохо. А в остальном колоритнейшая фигура, такой же эгоцентрист, как я.

6) Старик в «комнате отдыха» (читай: уборной) в пульмановском вагоне. Обрушил поток красноречия на двух предпринимательных, вышколенных слушателей с непроницаемыми лицами. Основные слова в этом потоке — «мать», «черт» и «сучий», затейливо переплетаемые в конце каждого предложения. Глаза дикие, ногти черные. Напомнил мне чем-то тип воинствующего русского черносотенца. Словно подслушав мои мысли, разразился злобной тирадой о евреях! Он смачно плюнул в раковину и промахнулся сантиметров на десять...

В моей коллекции есть еще экземпляры, но пока хватит...

ТВОЙ В.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Игра слов: человек неразумный.
- 2 Зигмунд Фрейд.
- 3 Впоследствии Набоков так назовет героя рассказчика в своем последнем законченном романе «Там арлекины».

Перевод с английского
и предисловие
Сергея ТАСКА.

* Игра слов: pole — флагшток, Pole — поляк.
** Истинный джентльмен (фр.).
*** Игра слов: Col. (сокр.) может означать «колонизальный» (colonial) и «полковник» (colonel).

¹ Тоска (фр.).
² Роман В. В. Набокова, написанный в 1928 г.